Annotation

Ноахег: известный русский поэт и писатель А.С. Пушкин делится своими воспоминаниями о своей поездке на русско-турецкую войну 1829 года, в т. ч. рассказывает о встречах с Еромоловым и Паскевичем. Поездка эта была несанкционированной Бенкендорфом, и породила (из-за одиозности некоторых сопровождавших Пушкина в этой поездке лиц) в свете всякие кривотолки, а сами записки вызвали недовольство некоторых военачальников, которые не дождались от Пушкина того, на что рассчитывали — немедленной героизации. Обо всех этих сопутствующих и последовавших запискам Пушкина событиях и явлениях легко забываешь, только начав читать — прекрасный язык, без вычурности и пафоса, точные наблюдения, и тонкое чувство юмора. Ай да Пушкин, ай да наше всё!

- Пушкин Александр Сергеевич
  - Предисловие
  - Глава первая
  - Глава вторая
  - Глава третия
  - Глава четвертая
  - Глава пятая
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15

- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54

Пушкин Александр Сергеевич
Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года

Предисловие

Недавно попалась мне в руки книга, напечатанная в Париже в прошлом 1834 году под названием: Voyages en Orient entrepris par ordre du Gouvernement Francais[1]. Автор, по-своему описывая поход 1829 года, оканчивает свои рассуждения следующими словами:

Un poete distingue par son imagination a trouve dans tant de hauts faits dont il a ete temoin non le sujet d'un poeme, mais celui d'une satyre[2].

Из поэтов, бывших в турецком походе, знал я только об А. С. Хомякове и об А. Н. Муравьеве. Оба находились в армии графа Дибича. Первый написал в то время несколько прекрасных лирических стихотворений, второй обдумывал свое путешествие к святым местам, произведшее столь сильное впечатление. Но я не читал никакой сатиры на Арзрумский поход.

Никак бы я не мог подумать, что дело здесь идет обо мне, если бы в той самой книге не нашел я своего имени между именами генералов отдельного Кавказского корпуса. Parmi les chefs qui la commandaient (l'armee du Prince Paskewitch) on distinguait le General Mouravief… le Prince Georgien Tsitsevaze… le Prince Armenien Beboutof… le Prince Potemkine, le General Raiewsky, et enfin — M-r Pouchkine… qui avait quitte la capitale pour chanter les exploits de ses compatriotes[3].

Признаюсь: эти строки французского путешественника, несмотря на лестные эпитеты, были мне гораздо досаднее, нежели брань русских журналов. Искать вдохновения всегда казалось мне смешной и нелепой причудою: вдохновения не сыщешь; оно само должно найти поэта. Приехать на войну с тем, чтобы воспевать будущие подвиги, было бы для меня с одной стороны слишком самолюбиво, а с другой слишком непристойно. Я не вмешиваюсь в военные суждения. Это не мое дело. Может быть, смелый переход через Саган-Лу, движение, коим граф Паскевич отрезал сераскира от Осман-паши, поражение двух неприятельских корпусов в течение одних суток, быстрый поход к Арзруму, все это, увенчанное полным успехом, может быть и чрезвычайно достойно посмеяния в глазах военных людей (каковы, например, г. купеческий консул Фонтанье, автор путешествия на Восток); но я устыдился бы писать сатиры на прославленного полководца, ласково принявшего меня под сень своего шатра и находившего время посреди своих великих забот оказывать мне лестное внимание. Человек, не имеющий нужды в покровительстве сильных, дорожит их радушием и гостеприимством, ибо иного от них не

может и требовать. Обвинение в неблагодарности не должно быть оставлено без возражения, как ничтожная критика или литературная брань. Вот почему решился я напечатать это предисловие и выдать свои путевые записки, как все, что мною было написано о походе 1829 года.

А. Пушкин.

Глава первая

Степи. Калмыцкая кибитка. Кавказские воды. Военная Грузинская дорога. Владикавказ. Осетинские похороны. Терек. Дариальское ущелие. Переезд через снеговые горы. Первый взгляд на Грузию. Водопроводы. Хозрев-Мирза. Душетский городничий.

…Из Москвы поехал я на Калугу, Белев и Орел, и сделал таким образом 200 верст лишних; зато увидел Ермолова[4]. Он живет в Орле, близ коего находится его деревня. Я приехал к нему в восемь часов утра и не застал его дома. Извозчик мой сказал мне, что Ермолов ни у кого не бывает, кроме как у отца своего, простого, набожного старика, что он не принимает одних только городских чиновников, а что всякому другому доступ свободен. Через час я снова к нему приехал. Ермолов принял меня с обыкновенной своей любезностию. С первого взгляда я не нашел в нем ни малейшего сходства с его портретами, писанными обыкновенно профилем. Лицо круглое, огненные, серые глаза, седые волосы дыбом. Голова тигра на Геркулесовом торсе. Улыбка неприятная, потому что не естественна. Когда же он задумывается и хмурится, то он становится прекрасен и разительно напоминает поэтический портрет, писанный Довом[5]. Он был в зеленом черкесском чекмене. На стенах его кабинета висели шашки и кинжалы, памятники его владычества на Кавказе. Он, по-видимому, нетерпеливо сносит свое бездействие. Несколько раз принимался он говорить о Паскевиче и всегда язвительно; говоря о легкости его побед, он сравнивал его с Навином, перед которым стены падали от трубного звука, и называл графа Эриванского графом Ерихонским. "Пускай нападет он, — говорил Ермолов, — на пашу не умного, не искусного, но только упрямого, например на пашу, начальствовавшего в Шумле, — и Паскевич пропал". Я передал Ермолову слова гр. Толстого[6], что Паскевич так хорошо действовал в персидскую кампанию, что умному человеку осталось бы только действовать похуже, чтоб отличиться от него. Ермолов засмеялся, но не согласился. "Можно было бы сберечь людей и издержки", — сказал он. Думаю, что он пишет или хочет писать свои записки. Он недоволен Историей Карамзина; он желал бы, чтобы пламенное перо изобразило переход русского народа из ничтожества к славе и могуществу. О записках кн. Курбского говорил он con amore[7]. Немцам досталось. "Лет через пятьдесят, — сказал он, — подумают, что в нынешнем походе была

вспомогательная прусская или австрийская армия, предводительствованная такими-то немецкими генералами". Я пробыл у него часа два. Ему было досадно, что не помнил моего полного имени. Он извинялся комплиментами. Разговор несколько раз касался литературы. О стихах Грибоедова говорит он, что от их чтения — скулы болят. О правительстве и политике не было ни слова.

Мне предстоял путь через Курск и Харьков; но я своротил на прямую тифлисскую дорогу, жертвуя хорошим обедом в курском трактире (что не безделица в наших путешествиях) и не любопытствуя посетить Харьковский университет, который не стоит курской ресторации.

До Ельца дороги ужасны. Несколько раз коляска моя вязла в грязи, достойной грязи одесской. Мне случалось в сутки проехать не более пятидесяти верст. Наконец увидел я воронежские степи и свободно покатился по зеленой равнине. В Новочеркасске нашел я графа Пушкина[8], ехавшего также в Тифлис, и мы согласились путешествовать вместе.

Переход от Европы к Азии делается час от часу чувствительнее: леса исчезают, холмы сглаживаются, трава густеет и являет большую силу растительности; показываются птицы, неведомые в наших лесах; орлы сидят на кочках, означающих большую дорогу, как будто на страже, и гордо смотрят на путешественников; по тучным пастбищам

> Кобылиц неукротимых[9]
> Гордо бродят табуны.

Калмыки располагаются около станционных хат. У кибиток их пасутся их уродливые, косматые кони, знакомые вам по прекрасным рисункам Орловского.

На днях посетил я калмыцкую кибитку (клетчатый плетень, обтянутый белым войлоком). Все семейство собиралось завтракать. Котел варился посредине, и дым выходил в отверстие, сделанное в верху кибитки. Молодая калмычка, собою очень недурная, шила, куря табак. Я сел подле нее. "Как тебя зовут?" — "***". — "Сколько тебе лет?" — "Десять и восемь". — "Что ты шьешь?" — "Портка". — "Кому?" — "Себя". — Она подала мне свою трубку и стала завтракать. В котле варился чай с бараньим жиром и солью. Она предложила мне свой ковшик. Я не хотел отказаться и хлебнул, стараясь не перевести духа. Не думаю, чтобы другая народная кухня могла произвести что-нибудь гаже. Я попросил чем-нибудь это заесть. Мне дали кусочек сушеной кобылятины; я был и тому рад.

Калмыцкое кокетство испугало меня; я поскорее выбрался из кибитки и поехал от степной Цирцеи.

В Ставрополе увидел я на краю неба облака, поразившие мне взоры ровно за девять лет. Они были всё те же, всё на том же месте. Это — снежные вершины Кавказской цепи.

Из Георгиевска я заехал на Горячие воды. Здесь нашел я большую перемену: в мое время ванны находились в лачужках, наскоро построенных. Источники, большею частию в первобытном своем виде, били, дымились и стекали с гор по разным направлениям, оставляя по себе белые и красноватые следы. Мы черпали кипучую воду ковшиком из коры или дном разбитой бутылки. Нынче выстроены великолепные ванны и дома. Бульвар, обсаженный липками, проведен по склонению Машука. Везде чистенькие дорожки, зеленые лавочки, правильные цветники, мостики, павильоны. Ключи обделаны, выложены камнем; на стенах ванн прибиты предписания от полиции; везде порядок, чистота, красивость…

Признаюсь: Кавказские воды представляют ныне более удобностей; но мне было жаль их прежнего дикого состояния; мне было жаль крутых каменных тропинок, кустарников и неогороженных пропастей, над которыми, бывало, я карабкался. С грустью оставил я воды и отправился обратно в Георгиевск. Скоро настала ночь. Чистое небо усеялось миллионами звезд. Я ехал берегом Подкумка. Здесь, бывало, сиживал со мною А. Раевский, прислушиваясь к мелодии вод. Величавый Бешту чернее и чернее рисовался в отдалении, окруженный горами, своими вассалами, и наконец исчез во мраке…

На другой день мы отправились далее и прибыли в Екатериноград, бывший некогда наместническим городом.

С Екатеринограда начинается военная Грузинская дорога; почтовый тракт прекращается. Нанимают лошадей до Владикавказа. Дается конвой казачий и пехотный и одна пушка. Почта отправляется два раза в неделю, и проезжие к ней присоединяются: это называется оказией. Мы дожидались недолго. Почта пришла на другой день, и на третье утро в девять часов мы были готовы отправиться в путь. На сборном месте соединился весь караван, состоявший из пятисот человек или около. Пробили в барабан. Мы тронулись. Впереди поехала пушка, окруженная пехотными солдатами. За нею потянулись коляски, брички, кибитки солдаток, переезжающих из одной крепости в другую; за ними заскрыпел обоз двуколесных ароб. По сторонам бежали конские табуны и стада волов. Около них скакали нагайские проводники в бурках и с арканами. Все это сначала мне очень нравилось, но скоро надоело. Пушка ехала шагом, фитиль курился, и

солдаты раскуривали им свои трубки. Медленность нашего похода (в первый день мы прошли только пятнадцать верст), несносная жара, недостаток припасов, беспокойные ночлеги, наконец беспрерывный скрып нагайских ароб выводили меня из терпения. Татаре тщеславятся этим скрыпом, говоря, что они разъезжают как честные люди, не имеющие нужды укрываться. На сей раз приятнее было бы мне путешествовать не в столь почтенном обществе. Дорога довольно однообразная: равнина; по сторонам холмы. На краю неба вершины Кавказа, каждый день являющиеся выше и выше. Крепости, достаточные для здешнего края, со рвом, который каждый из нас перепрыгнул бы в старину не разбегаясь, с заржавыми пушками, не стрелявшими со времен графа Гудовича, с обрушенным валом, по которому бродит гарнизон куриц и гусей. В крепостях несколько лачужек, где с трудом можно достать десяток яиц и кислого молока.

Первое замечательное место есть крепость Минарет. Приближаясь к ней, наш караван ехал по прелестной долине между курганами, обросшими липой и чинаром. Это могилы нескольких тысяч умерших чумою. Пестрелись цветы, порожденные зараженным пеплом. Справа сиял снежный Кавказ; впереди возвышалась огромная, лесистая гора; за нею находилась крепость. Кругом ее видны следы разоренного аула, называвшегося Татартубом и бывшего некогда главным в Большой Кабарде. Легкий, одинокий минарет свидетельствует о бытии исчезнувшего селения. Он стройно возвышается между грудами камней, на берегу иссохшего потока. Внутренняя лестница еще не обрушилась. Я взобрался по ней на площадку, с которой уже не раздается голос муллы. Там нашел я несколько неизвестных имен, нацарапанных на кирпичах славолюбивыми путешественниками.

Дорога наша сделалась живописна. Горы тянулись над нами. На их вершинах ползали чуть видные стада и казались насекомыми. Мы различили и пастуха, быть может русского, некогда взятого в плен и состаревшегося в неволе. Мы встретили еще курганы, еще развалины. Два-три надгробных памятника стояло на краю дороги. Там, по обычаю черкесов, похоронены их наездники. Татарская надпись, изображение шашки, танга, иссеченные на камне, оставлены хищным внукам в память хищного предка.

Черкесы нас ненавидят. Мы вытеснили их из привольных пастбищ; аулы их разорены, целые племена уничтожены. Они час от часу далее углубляются в горы и оттуда направляют свои набеги. Дружба мирных черкесов ненадежна: они всегда готовы помочь буйным своим

единоплеменникам. Дух дикого их рыцарства заметно упал. Они редко нападают в равном числе на казаков, никогда на пехоту и бегут, завидя пушку. Зато никогда не пропустят случая напасть на слабый отряд или на беззащитного. Здешняя сторона полна молвой о их злодействах. Почти нет никакого способа их усмирить, пока их не обезоружат, как обезоружили крымских татар, что чрезвычайно трудно исполнить, по причине господствующих между ими наследственных распрей и мщения крови. Кинжал и шашка суть члены их тела, и младенец начинает владеть ими прежде, нежели лепетать. У них убийство — простое телодвижение. Пленников они сохраняют в надежде на выкуп, но обходятся с ними с ужасным бесчеловечием, заставляют работать сверх сил, кормят сырым тестом, бьют, когда вздумается, и приставляют к ним для стражи своих мальчишек, которые за одно слово вправе их изрубить своими детскими шашками. Недавно поймали мирного черкеса, выстрелившего в солдата. Он оправдывался тем, что ружье его слишком долго было заряжено. Что делать с таковым народом? Должно, однако ж, надеяться, что приобретение восточного края Черного моря, отрезав черкесов от торговли с Турцией, принудит их с нами сблизиться. Влияние роскоши может благоприятствовать их укрощению: самовар был бы важным нововведением. Есть средство более сильное, более нравственное, более сообразное с просвещением нашего века: проповедание Евангелия. Черкесы очень недавно приняли магометанскую веру. Они были увлечены деятельным фанатизмом апостолов Корана, между коими отличался Мансур, человек необыкновенный, долго возмущавший Кавказ противу русского владычества, наконец схваченный нами и умерший в Соловецком монастыре. Кавказ ожидает христианских миссионеров. Но легче для нашей лености в замену слова живого выливать мертвые буквы и посылать немые книги людям, не знающим грамоты.

Мы достигли Владикавказа, прежнего Капкая, преддверия гор. Он окружен осетинскими аулами. Я посетил один из них и попал на похороны. Около сакли толпился народ. На дворе стояла арба, запряженная двумя волами. Родственники и друзья умершего съезжались со всех сторон и с громким плачем шли в саклю, ударяя себя кулаками в лоб. Женщины стояли смирно. Мертвеца вынесли на бурке…

> …like a warrior taking his rest
> With his martial cloak around him;[10]

положили его на арбу. Один из гостей взял ружье покойника, сдул с полки порох и положил его подле тела. Волы тронулись. Гости поехали следом. Тело должно было быть похоронено в горах, верстах в тридцати от аула. К сожалению, никто не мог объяснить мне сих обрядов.

Осетинцы самое бедное племя из народов, обитающих на Кавказе; женщины их прекрасны и, как слышно, очень благосклонны к путешественникам. У ворот крепости встретил я жену и дочь заключенного осетинца. Они несли ему обед. Обе казались спокойны и смелы; однако ж при моем приближении обе потупили голову и закрылись своими изодранными *чадрами*. В крепости видел я черкесских аманатов, резвых и красивых мальчиков. Они поминутно проказят и бегают из крепости. Их держат в жалком положении. Они ходят в лохмотьях, полунагие и в отвратительной нечистоте. На иных видел я деревянные колодки. Вероятно, что аманаты, выпущенные на волю, не жалеют о своем пребывании во Владикавказе.

Пушка оставила нас. Мы отправились с пехотой и казаками. Кавказ нас принял в свое святилище. Мы услышали глухой шум и увидели Терек, разливающийся по разным направлениям. Мы поехали по его левому берегу. Шумные волны его приводят в движение колеса низеньких осетинских мельниц, похожих на собачьи конуры. Чем далее углублялись мы в горы, тем уже становилось ущелие. Стесненный Терек с ревом бросает свои мутные волны чрез утесы, преграждающие ему путь. Ущелие извивается вдоль его течения. Каменные подошвы гор обточены его волнами. Я шел пешком и поминутно останавливался, пораженный мрачною прелестию природы. Погода была пасмурная; облака тяжело тянулись около черных вершин. Граф Пушкин и Шернваль[11], смотря на Терек, воспоминали Иматру и отдавали преимущество *реке на Севере гремящей*[12]. Но я ни с чем не мог сравнить мне предстоявшего зрелища.

Не доходя до Ларса, я отстал от конвоя, засмотревшись на огромные скалы, между коими хлещет Терек с яростию неизъяснимой. Вдруг бежит ко мне солдат, крича мне издали: "Не останавливайтесь, ваше благородие, убьют!" Это предостережение с непривычки показалось мне чрезвычайно странным. Дело в том, что осетинские разбойники, безопасные в этом узком месте, стреляют через Терек в путешественников. Накануне нашего перехода они напали таким образом на генерала Бековича, проскакавшего сквозь их выстрелы. На скале видны развалины какого-то замка: они облеплены саклями мирных осетинцев, как будто гнездами ласточек.

В Ларсе остановились мы ночевать. Тут нашли мы путешественника

француза, который напугал нас предстоящею дорогой. Он советовал нам бросить экипажи в Коби и ехать верхом. С ним выпили мы в первый раз кахетинского вина из вонючего бурдюка, воспоминая пирования Илиады:

И в козиих мехах вино, отраду нашу![13]

Здесь нашел я измаранный список "Кавказского пленника" и, признаюсь, перечел его с большим удовольствием. Все это слабо, молодо, неполно; но многое угадано и выражено верно.

На другой день поутру отправились мы далее. Турецкие пленники разработывали дорогу. Они жаловались на пищу, им выдаваемую. Они никак не могли привыкнуть к русскому черному хлебу. Это напомнило мне слова моего приятеля Шереметева по возвращении его из Парижа: "Худо, брат, жить в Париже: есть нечего; черного хлеба не допросишься!"

В семи верстах от Ларса находится Дариальский пост. Ущелье носит то же имя. Скалы с обеих сторон стоят параллельными стенами. Здесь так узко, так узко, пишет один путешественник, что не только видишь, но, кажется, чувствуешь тесноту. Клочок неба как лента синеет над вашей головою. Ручьи, падающие с горной высоты мелкими и разбрызганными струями, напоминали мне похищение Ганимеда, странную картину Рембрандта. К тому же и ущелье освещено совершенно в его вкусе. В иных местах Терек подмывает самую подошву скал, и на дороге, в виде плотины, навалены каменья. Недалеко от поста мостик смело переброшен через реку. На нем стоишь как на мельнице. Мостик весь так и трясется, а Терек шумит, как колеса, движущие жернов. Против Дариала на крутой скале видны развалины крепости. Предание гласит, что в ней скрывалась какая-то царица Дария, давшая имя свое ущелию: сказка. Дариал на древнем персидском языке значит ворота. По свидетельству Плиния, Кавказские врата, ошибочно называемые Каспийскими, находились здесь. Ущелье замкнуто было настоящими воротами, деревянными, окованными железом. Под ними, пишет Плиний, течет река Дириодорис. Тут была воздвигнута и крепость для удержания набегов диких племен; и проч. Смотрите путешествие графа И. Потоцкого[14], коего ученые изыскания столь же занимательны, как и испанские романы.

Из Дариала отправились мы к Казбеку. Мы увидели Троицкие ворота (арка, образованная в скале взрывом пороха) — под ними шла некогда дорога, а ныне протекает Терек, часто меняющий свое русло.

Недалеко от селения Казбек переехали мы через Бешеную балку, овраг,

во время сильных дождей превращающийся в яростный поток. В это время он был совершенно сух и громок одним своим именем.

Деревня Казбек находится у подошвы горы Казбек и принадлежит князю Казбеку. Князь, мужчина лет сорока пяти, ростом выше преображенского флигельмана. Мы нашли его в духане (так называются грузинские харчевни, которые гораздо беднее и не чище русских). В дверях лежал пузастый бурдюк (воловий мех), растопыря свои четыре ноги. Великан тянул из него чихирь и сделал мне несколько вопросов, на которые отвечал я с почтением, подобаемым его званию и росту. Мы расстались большими приятелями.

Скоро притупляются впечатления. Едва прошли сутки, и уже рев Терека и его безобразные водопады, уже утесы и пропасти не привлекали моего внимания. Нетерпение доехать до Тифлиса исключительно овладело мною. Я столь же равнодушно ехал мимо Казбека, как некогда плыл мимо Чатырдага. Правда и то, что дождливая и туманная погода мешала мне видеть его снеговую груду, по выражению поэта, подпирающую небосклон [15].

Ждали персидского принца[16]. В некотором расстоянии от Казбека попались нам навстречу несколько колясок и затруднили узкую дорогу. Покамест экипажи разъезжались, конвойный офицер объявил нам, что он провожает придворного персидского поэта и, по моему желанию, представил меня Фазил-Хану. Я, с помощию переводчика, начал было высокопарное восточное приветствие; но как же мне стало совестно, когда Фазил-Хан отвечал на мою неуместную затейливость простою, умной учтивостию порядочного человека! "Он надеялся увидеть меня в Петербурге; он жалел, что знакомство наше будет непродолжительно и проч.". Со стыдом принужден я был оставить важно-шутливый тон и съехать на обыкновенные европейские фразы. Вот урок нашей русской насмешливости. Вперед не стану судить о человеке по его бараньей папахе[17] и по крашеным ногтям.

Пост Коби находится у самой подошвы Крестовой горы, чрез которую предстоял нам переход. Мы тут остановились ночевать и стали думать, каким бы образом совершить сей ужасный подвиг: сесть ли, бросив экипажи, на казачьих лошадей, или послать за осетинскими волами? На всякий случай я написал от имени всего нашего каравана официальную просьбу к г. Чиляеву, начальствующему в здешней стороне, и мы легли спать в ожидании подвод.

На другой день около 12-ти часов услышали мы шум, крики и увидели

зрелище необыкновенное: 18 пар тощих малорослых волов, понуждаемых толпою полунагих осетинцев, насилу тащили легкую венскую коляску приятеля моего О ***. Это зрелище тотчас рассеяло все мои сомнения. Я решился отправить мою тяжелую петербургскую коляску обратно во Владикавказ и ехать верхом до Тифлиса. Граф Пушкин не хотел следовать моему примеру. Он предпочел впрячь целое стадо волов в свою бричку, нагруженную запасами всякого рода, и с торжеством переехать через снеговой хребет. Мы расстались, и я поехал с полковником Огаревым, осматривающим здешние дороги.

Дорога шла через обвал, обрушившийся в конце июня 1827 года. Таковые случаи бывают обыкновенно каждые семь лет. Огромная глыба, свалясь, засыпала ущелие на целую версту и запрудила Терек. Часовые, стоявшие ниже, слышали ужасный грохот и увидели, что река быстро мелела и в четверть часа совсем утихла и истощилась. Терек прорылся сквозь обвал не прежде, как через два часа. То-то был он ужасен!

Мы круто подымались выше и выше. Лошади наши вязли в рыхлом снегу, под которым шумели ручьи. Я с удивлением смотрел на дорогу и не понимал возможности езды на колесах.

В это время услышал я глухой грохот. "Это обвал", — сказал мне г. Огарев. Я оглянулся и увидел в стороне груду снега, которая осыпалась и медленно съезжала с крутизны. Малые обвалы здесь не редки. В прошлом году русский извозчик ехал по Крестовой горе. Обвал оборвался; страшная глыба свалилась на его повозку, поглотила телегу, лошадь и мужика, перевалилась через дорогу и покатилась в пропасть с своею добычею. Мы достигли самой вершины горы. Здесь поставлен гранитный крест, старый памятник, обновленный Ермоловым.

Здесь путешественники обыкновенно выходят из экипажей и идут пешком. Недавно проезжал какой-то иностранный консул: он так был слаб, что велел завязать себе глаза; его вели под руки, и когда сняли с него повязку, тогда он стал на колени, благодарил бога и проч., что очень изумило проводников.

Мгновенный переход от грозного Кавказа к миловидной Грузии восхитителен. Воздух юга вдруг начинает повевать на путешественника. С высоты Гут-горы открывается Кайшаурская долина с ее обитаемыми скалами, с ее садами, с ее светлой Арагвой, извивающейся, как серебряная лента, — и все это в уменьшенном виде, на дне трехверстной пропасти, по которой идет опасная дорога.

Мы спускались в долину. Молодой месяц показался на ясном небе. Вечерний воздух был тих и тепел. Я ночевал на берегу Арагвы, в доме г.

Чиляева. На другой день я расстался с любезным хозяином и отправился далее.

Здесь начинается Грузия. Светлые долины, орошаемые веселой Арагвою, сменили мрачные ущелия и грозный Терек. Вместо голых утесов я видел около себя зеленые горы и плодоносные деревья. Водопроводы доказывали присутствие образованности. Один из них поразил меня совершенством оптического обмана: вода, кажется, имеет свое течение по горе снизу вверх.

В Пайсануре остановился я для перемены лошадей. Тут я встретил русского офицера, провожающего персидского принца. Вскоре услышал я звук колокольчиков, и целый ряд катаров (мулов), привязанных один к другому и навьюченных по-азиатски, потянулся по дороге. Я пошел пешком, не дождавшись лошадей; и в полверсте от Ананура, на повороте дороги, встретил Хозрев-Мирзу. Экипажи его стояли. Сам он выглянул из своей коляски и кивнул мне головою. Несколько часов после нашей встречи на принца напали горцы. Услыша свист пуль, Хозрев выскочил из своей коляски, сел на лошадь и ускакал. Русские, бывшие при нем, удивились его смелости. Дело в том, что молодой азиатец, не привыкший к коляске, видел в ней скорее западню, нежели убежище.

Я дошел до Ананура, не чувствуя усталости. Лошади мои не приходили. Мне сказали, что до города Душета оставалось не более как десять верст, и я опять отправился пешком. Но я не знал, что дорога шла в гору. Эти десять верст стоили добрых двадцати.

Наступил вечер; я шел вперед, подымаясь все выше и выше. С дороги сбиться было невозможно; но местами глинистая грязь, образуемая источниками, доходила мне до колена. Я совершенно утомился. Темнота увеличилась. Я слышал вой и лай собак и радовался, воображая, что город недалеко. Но ошибался: лаяли собаки грузинских пастухов, а выли шакалы, звери в той стороне обыкновенные. Я проклинал свое нетерпение, но делать было нечего. Наконец увидел я огни и около полуночи очутился у домов, осененных деревьями. Первый встречный вызвался провести меня к городничему и потребовал за то с меня абаз.

Появление мое у городничего, старого офицера из грузин, произвело большое действие. Я требовал, во-первых, комнаты, где бы мог раздеться, во-вторых, — стакана вина, в-третьих, — абаза для моего провожатого. Городничий не знал, как меня принять, и посматривал на меня с недоумением. Видя, что он не торопится исполнить мои просьбы, я стал перед ним раздеваться, прося извинения de la liberte grande[18]. К счастию, нашел я в кармане подорожную, доказывавшую, что я мирный

путешественник, а не Ринальдо-Ринальдини. Благословенная хартия возымела тотчас свое действие: комната была мне отведена, стакан вина принесен и абаз выдан моему проводнику с отеческим выговором за его корыстолюбие, оскорбительное для грузинского гостеприимства. Я бросился на диван, надеясь после моего подвига заснуть богатырским сном: не тут-то было! блохи, которые гораздо опаснее шакалов, напали на меня и во всю ночь не дали мне покою. Поутру явился ко мне мой человек и объявил, что граф Пушкин благополучно переправился на волах через снеговые горы и прибыл в Душет. Нужно было мне торопиться! Граф Пушкин и Шернваль посетили меня и предложили опять отправиться вместе в дорогу. Я оставил Душет с приятной мыслию, что ночую в Тифлисе.

Дорога была так же приятна и живописна, хотя редко видели мы следы народонаселения. В нескольких верстах от Гарцискала мы переправились через Куру по древнему мосту, памятнику римских походов, и крупной рысью, а иногда и вскачь, поехали к Тифлису, в котором неприметным образом и очутились часу в одиннадцатом вечера.

Глава вторая

Тифлис. Народные бани. Безносый Гассан. Нравы грузинские. Песни. Кахетинское вино. Причина жаров. Дороговизна. Описание города. Отъезд из Тифлиса. Грузинская ночь. Вид Армении. Двойной переход. Армянская деревня. Гергеры. Грибоедов. Безобдал. Минеральный ключ. Буря в горах. Ночлег в Гумрах. Арарат. Граница. Турецкое гостеприимство. Карс. Армянская семья. Выезд из Карса. Лагерь графа Паскевича.

Я остановился в трактире, на другой день отправился в славные тифлисские бани. Город показался мне многолюден. Азиатские строения и базар напомнили мне Кишинев. По узким и кривым улицам бежали ослы с перекидными корзинами; арбы, запряженные волами, перегорожали дорогу. Армяне, грузинцы, черкесы, персияне теснились на неправильной площади; между ими молодые русские чиновники разъезжали верхами на карабахских жеребцах. При входе в бани сидел содержатель, старый персиянин. Он отворил мне дверь, я вошел в обширную комнату и что же увидел? Более пятидесяти женщин, молодых и старых, полуодетых и вовсе неодетых, сидя и стоя раздевались, одевались на лавках, расставленных около стен. Я остановился. "Пойдем, пойдем, — сказал мне хозяин, — сегодня вторник: женский день. Ничего, не беда". — "Конечно не беда, — отвечал я ему, — напротив". Появление мужчин не произвело никакого впечатления. Они продолжали смеяться и разговаривать между собою. Ни одна не поторопилась покрыться своею чадрою; ни одна не перестала раздеваться. Казалось, я вошел невидимкой. Многие из них были в самом деле прекрасны и оправдывали воображение Т. Мура:

a lovely Georgian maid,
With all the bloom, the freshen'd glow
Of her own country maiden's looks,
When warm they rise from Teflis' brooks.
Lalla Rookh[19].

Зато не знаю ничего отвратительнее грузинских старух: это ведьмы.

Персиянин ввел меня в бани: горячий, железо-серный источник лился в глубокую ванну, иссеченную в скале. Отроду не встречал я ни в России,

ни в Турции ничего роскошнее тифлисских бань. Опишу их подробно.

Хозяин оставил меня на попечение татарину-банщику. Я должен признаться, что он был без носу; это не мешало ему быть мастером своего дела. Гассан (так назывался безносый татарин) начал с того, что разложил меня на теплом каменном полу; после чего начал он ломать мне члены, вытягивать составы, бить меня сильно кулаком; я не чувствовал ни малейшей боли, но удивительное облегчение. (Азиатские банщики приходят иногда в восторг, вспрыгивают вам на плечи, скользят ногами по бедрам и пляшут по спине вприсядку, e sempre bene)[20]. После сего долго тер он меня шерстяною рукавицей и, сильно оплескав теплой водою, стал умывать намыленным полотняным пузырем. Ощущение неизъяснимое: горячее мыло обливает вас как воздух! NB: шерстяная рукавица и полотняный пузырь непременно должны быть приняты в русской бане: знатоки будут благодарны за таковое нововведение.

После пузыря Гассан отпустил меня в ванну; тем и кончилась церемония.

В Тифлисе надеялся я найти Раевского[21], но узнав, что полк его уже выступил в поход, я решился просить у графа Паскевича позволения приехать в армию.

В Тифлисе пробыл я около двух недель и познакомился с тамошним обществом. Санковский, издатель "Тифлисских ведомостей", рассказывал мне много любопытного о здешнем крае, о князе Цицианове, об А. П. Ермолове и проч. Санковский любит Грузию и предвидит для нее блестящую будущность.

Грузия прибегнула под покровительство России в 1783 году, что не помешало славному Аге-Мохамеду взять и разорить Тифлис и 20000 жителей увести в плен (1795 г.). Грузия перешла под скипетр императора Александра в 1802 г. Грузины народ воинственный. Они доказали свою храбрость под нашими знаменами. Их умственные способности ожидают большей образованности. Они вообще нрава веселого и общежительного. По праздникам мужчины пьют и гуляют по улицам. Черноглазые мальчики поют, прыгают и кувыркаются; женщины пляшут лезгинку.

Голос песен грузинских приятен. Мне перевели одну из них слово в слово; она, кажется, сложена в новейшее время; в ней есть какая-то восточная бессмыслица, имеющая свое поэтическое достоинство. Вот вам она:

> Душа, недавно рожденная[22] в раю! Душа, созданная для моего счастия! от тебя, бессмертная, ожидаю жизни.

От тебя, весна цветущая, луна двунедельная,
от тебя, ангел мой хранитель, от тебя ожидаю жизни.

Ты сияешь лицом и веселишь улыбкою. Не хочу обладать
миром; хочу твоего взора. От тебя ожидаю жизни.

Горная роза, освеженная росою! Избранная любимица
природы! Тихое, потаенное сокровище! от тебя ожидаю жизни.

Грузины пьют не по-нашему и удивительно крепки. Вины их не терпят вывоза и скоро портятся, но на месте они прекрасны. Кахетинское и карабахское стоят некоторых бургонских. Вино держат в маранах, огромных кувшинах, зарытых в землю. Их открывают с торжественными обрядами. Недавно русский драгун, тайно отрыв таковой кувшин, упал в него и утонул в кахетинском вине, как несчастный Кларенс[23] в бочке малаги.

Тифлис находится на берегах Куры в долине, окруженной каменистыми горами. Они укрывают его со всех сторон от ветров и, раскалясь на солнце, не нагревают, а кипятят недвижный воздух. Вот причина нестерпимых жаров, царствующих в Тифлисе, несмотря на то, что город находится только еще под сорок первым градусом широты. Самое его название (Тбилискалар) значит Жаркий город.

Большая часть города выстроена по-азиатски: дома низкие, кровли плоские. В северной части возвышаются дома европейской архитектуры, и около них начинают образоваться правильные площади. Базар разделяется на несколько рядов; лавки полны турецких и персидских товаров, довольно дешевых, если принять в рассуждение всеобщую дороговизну. Оружие тифлисское дорого ценится на всем Востоке. Граф Самойлов[24] и В., прослывшие здесь богатырями, обыкновенно пробовали свои новые шашки, с одного маху перерубая надвое барана или отсекая голову быку.

В Тифлисе главную часть народонаселения составляют армяне: в 1825 году было их здесь до 2500 семейств. Во время нынешних войн число их еще умножилось. Грузинских семейств считается до 1500. Русские не считают себя здешними жителями. Военные, повинуясь долгу, живут в Грузии, потому что так им велено. Молодые титулярные советники приезжают сюда за чином асессорским, толико вожделенным. Те и другие смотрят на Грузию как на изгнание.

Климат тифлисский, сказывают, нездоров. Здешние горячки ужасны; их лечат меркурием, коего употребление безвредно по причине жаров. Лекаря кормят им своих больных безо всякой совести. Генерал Сипягин[25], говорят, умер оттого, что его домовый лекарь, приехавший с ним из Петербурга, испугался приема, предлагаемого тамошними докторами, и не дал оного больному. Здешние лихорадки похожи на крымские и молдавские и лечатся одинаково.

Жители пьют курскую воду, мутную, но приятную. Во всех источниках и колодцах вода сильно отзывается серой. Впрочем, вино здесь в таком общем употреблении, что недостаток в воде был бы незаметен.

В Тифлисе удивила меня дешевизна денег. Переехав на извозчике через две улицы и отпустив его через полчаса, я должен был заплатить два рубля серебром. Я сперва думал, что он хотел воспользоваться незнанием новоприезжего; но мне сказали, что цена точно такова. Все прочее дорого в соразмерности.

Мы ездили в немецкую колонию и там обедали. Пили там делаемое пиво, вкусу очень неприятного, и заплатили очень дорого за очень плохой обед. В моем трактире кормили меня так же дорого и дурно. Генерал Стрекалов[26], известный гастроном, позвал однажды меня отобедать; по несчастию, у него разносили кушанья по чинам, а за столом сидели английские офицеры в генеральских эполетах. Слуги так усердно меня обносили, что я встал из-за стола голодный. Черт побери тифлисского гастронома!

Я с нетерпением ожидал разрешения моей участи. Наконец получил записку от Раевского. Он писал мне, чтобы я спешил к Карсу, потому что через несколько дней войско должно было идти далее. Я выехал на другой же день.

Я ехал верхом, переменяя лошадей на казачьих постах. Вокруг меня земля была опалена зноем. Грузинские деревни издали казались мне прекрасными садами, но, подъезжая к ним, видел я несколько бедных сакель, осененных пыльными тополями. Солнце село, но воздух все еще был душен:

Ночи знойные!
Звезды чуждые!..

Луна сияла; все было тихо; топот моей лошади один раздавался в ночном безмолвии. Я ехал долго, не встречая признаков жилья. Наконец

увидел уединенную саклю. Я стал стучаться в дверь. Вышел хозяин. Я попросил воды сперва по-русски, а потом по-татарски. Он меня не понял. Удивительная беспечность! в тридцати верстах от Тифлиса и на дороге в Персию и Турцию он не знал ни слова ни по-русски, ни по-татарски.

Переночевав на казачьем посту, на рассвете отправился я далее. Дорога шла горами и лесом. Я встретил путешествующих татар; между ими было несколько женщин. Они сидели верхами, окутанные в чадры; видны были у них только глаза да каблуки.

Я стал подыматься на Безобдал, гору, отделяющую Грузию от древней Армении. Широкая дорога, осененная деревьями, извивается около горы. На вершине Безобдала я проехал сквозь малое ущелие, называемое, кажется, Волчьими Воротами, и очутился на естественной границе Грузии. Мне представились новые горы, новый горизонт; подо мною расстилались злачные зеленые нивы. Я взглянул еще раз на опаленную Грузию и стал спускаться по отлогому склонению горы к свежим равнинам Армении. С неописанным удовольствием заметил я, что зной вдруг уменьшился: климат был уже другой.

Человек мой со вьючными лошадьми от меня отстал. Я ехал один в цветущей пустыне, окруженной издали горами. В рассеянности проехал я мимо поста, где должен был переменить лошадей. Прошло более шести часов, и я начал удивляться пространству перехода. Я увидел в стороне груды камней, похожие на сакли, и отправился к ним. В самом деле я приехал в армянскую деревню. Несколько женщин в пестрых лохмотьях сидели на плоской кровле подземной сакли. Я изъяснился кое-как. Одна из них сошла в саклю и вынесла мне сыру и молока. Отдохнув несколько минут, я пустился далее и на высоком берегу реки увидел против себя крепость Гергеры. Три потока с шумом и пеной низвергались с высокого берега. Я переехал через реку. Два вола, впряженные в арбу, подымались по крутой дороге. Несколько грузин сопровождали арбу. "Откуда вы?" — спросил я их. "Из Тегерана". — "Что вы везете?" — "Грибоеда". Это было тело убитого Грибоедова, которое препровождали в Тифлис.

Не думал я встретить уже когда-нибудь нашего Грибоедова! Я расстался с ним в прошлом году в Петербурге пред отъездом его в Персию. Он был печален и имел странные предчувствия. Я было хотел его успокоить; он мне сказал: "Vous ne connaissez pas ces gens-la: vous verrez qu'il faudra jouer des couteaux"[27]. Он полагал, что причиною кровопролития будет смерть шаха и междуусобица его семидесяти сыновей. Но престарелый шах еще жив, а пророческие слова Грибоедова сбылись. Он погиб под кинжалами персиян, жертвой невежества и вероломства.

Обезображенный труп его, бывший три дня игралищем тегеранской черни, узнан был только по руке, некогда простреленной пистолетною пулею.

Я познакомился с Грибоедовым в 1817 году. Его меланхолический характер, его озлобленный ум, его добродушие, самые слабости и пороки, неизбежные спутники человечества, — все в нем было необыкновенно привлекательно. Рожденный с честолюбием, равным его дарованиям, долго был он опутан сетями мелочных нужд и неизвестности. Способности человека государственного оставались без употребления; талант поэта был не признан; даже его холодная и блестящая храбрость оставалась некоторое время в подозрении. Несколько друзей знали ему цену и видели улыбку недоверчивости, эту глупую, несносную улыбку, когда случалось им говорить о нем как о человеке необыкновенном. Люди верят только славе и не понимают, что между ими может находиться какой-нибудь Наполеон, не предводительствовавший ни одною егерскою ротою, или другой Декарт, не напечатавший ни одной строчки в "Московском телеграфе". Впрочем, уважение наше к славе происходит, может быть, от самолюбия: в состав славы входит ведь и наш голос.

Жизнь Грибоедова была затемнена некоторыми облаками: следствие пылких страстей и могучих обстоятельств. Он почувствовал необходимость расчесться единожды навсегда со своею молодостию и круто поворотить свою жизнь. Он простился с Петербургом и с праздной рассеянностию, уехал в Грузию, где пробыл осемь лет в уединенных, неусыпных занятиях. Возвращение его в Москву в 1824 году было переворотом в его судьбе и началом беспрерывных успехов. Его рукописная комедия: "Горе от ума" произвела неописанное действие и вдруг поставила его наряду с первыми нашими поэтами. Несколько времени потом совершенное знание того края, где начиналась война, открыло ему новое поприще; он назначен был посланником. Приехав в Грузию, женился он на той, которую любил… Не знаю ничего завиднее последних годов бурной его жизни. Самая смерть, постигшая его посреди смелого, неровного боя, не имела для Грибоедова ничего ужасного, ничего томительного. Она была мгновения и прекрасна.

Как жаль, что Грибоедов не оставил своих записок! Написать его биографию было бы делом его друзей; но замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов. Мы ленивы и нелюбопытны…

В Гергерах встретил я Бутурлина[28], который, как и я, ехал в армию. Бутурлин путешествовал со всевозможными прихотями. Я отобедал у него, как бы в Петербурге. Мы положили путешествовать вместе; но демон нетерпения опять мною овладел. Человек мой просил у меня позволения отдохнуть. Я отправился один даже без проводника. Дорога все была одна

и совершенно безопасна.

Переехав через гору и спустясь в долину, осененную деревьями, я увидел минеральный ключ, текущий поперек дороги. Здесь я встретил армянского попа, ехавшего в Ахалцык из Эривани. "Что нового в Эривани?" — спросил я его. "В Эривани чума, — отвечал он, — а что слыхать об Ахалцыке?" — "В Ахалцыке чума", — отвечал я ему. Обменявшись сими приятными известиями, мы расстались.

Я ехал посреди плодоносных нив и цветущих лугов. Жатва струилась, ожидая серпа. Я любовался прекрасной землею, коей плодородие вошло на Востоке в пословицу. К вечеру прибыл я в Пернике. Здесь был казачий пост. Урядник предсказывал мне бурю и советовал остаться ночевать, но я хотел непременно в тот же день достигнуть Гумров.

Мне предстоял переход через невысокие горы, естественную границу Карского пашалыка. Небо покрыто было тучами; я надеялся, что ветер, который час от часу усиливался, их разгонит. Но дождь стал накрапывать и шел все крупнее и чаще. От Пернике до Гумров считается 27 верст. Я затянул ремни моей бурки, надел башлык на картуз и поручил себя провидению.

Прошло более двух часов. Дождь не переставал. Вода ручьями лилась с моей отяжелевшей бурки и с башлыка, напитанного дождем. Наконец холодная струя начала пробираться мне за галстук, и вскоре дождь промочил меня до последней нитки. Ночь была темная; казак ехал впереди, указывая дорогу. Мы стали подыматься на горы, между тем дождь перестал и тучи рассеялись. До Гумров оставалось верст десять. Ветер, дуя на свободе, был так силен, что в четверть часа высушил меня совершенно. Я не думал избежать горячки. Наконец я достигнул Гумров около полуночи. Казак привез меня прямо к посту. Мы остановились у палатки, куда спешил я войти. Тут нашел я двенадцать казаков, спящих один возле другого. Мне дали место; я повалился на бурку, не чувствуя сам себя от усталости. В этот день проехал я 75 верст. Я заснул как убитый.

Казаки разбудили меня на заре. Первою моею мыслию было: не лежу ли я в лихорадке. Но почувствовал, что слава богу бодр, здоров; не было следа не только болезни, но и усталости. Я вышел из палатки на свежий утренний воздух. Солнце всходило. На ясном небе белела снеговая, двуглавая гора. "Что за гора?" — спросил я, потягиваясь, и услышал в ответ: "Это Арарат". Как сильно действие звуков! Жадно глядел я на библейскую гору, видел ковчег, причаливший к ее вершине с надеждой обновления и жизни — и врана и голубицу, излетающих, символы казни и примирения…

Лошадь моя была готова. Я поехал с проводником. Утро было прекрасное. Солнце сияло. Мы ехали по широкому лугу, по густой зеленой траве, орошенной росою и каплями вчерашнего дождя. Перед нами блистала речка, через которую должны мы были переправиться. "Вот и Арпачай", — сказал мне казак. Арпачай! наша граница! Это стоило Арарата. Я поскакал к реке с чувством неизъяснимым. Никогда еще не видал я чужой земли. Граница имела для меня что-то таинственное; с детских лет путешествия были моею любимою мечтою. Долго вел я потом жизнь кочующую, скитаясь то по югу, то по северу, и никогда еще не вырывался из пределов необъятной России. Я весело въехал в заветную реку, и добрый конь вынес меня на турецкий берег. Но этот берег был уже завоеван: я все еще находился в России.

До Карса оставалось мне еще 75 верст. К вечеру надеялся я увидеть наш лагерь. Я нигде не останавливался. На половине дороги, в армянской деревне, выстроенной в горах на берегу речки, вместо обеда съел я проклятый чюрек, армянский хлеб, испеченный в виде лепешки пополам с золою, о котором так тужили турецкие пленники в Дариальском ущелии. Дорого бы я дал за кусок русского черного хлеба, который был им так противен. Меня провожал молодой турок, ужасный говорун. Он во всю дорогу болтал по-турецки, не заботясь о том, понимал ли я его, или нет. Я напрягал внимание и старался угадать его. Казалось, он побранивал русских и, привыкнув видеть всех их в мундирах, по платью принимал меня за иностранца. Навстречу нам попался русский офицер. Он ехал из нашего лагеря и объявил мне, что армия выступила уже из-под Карса. Не могу описать моего отчаяния: мысль, что мне должно будет возвратиться в Тифлис, измучась понапрасну в пустынной Армении, совершенно убивала меня. Офицер поехал в свою сторону; турок начал опять свой монолог; но уже мне было не до него. Я переменил иноходь на крупную рысь и вечером приехал в турецкую деревню, находящуюся в двадцати верстах от Карса.

Соскочив с лошади, я хотел войти в первую саклю, но в дверях показался хозяин и оттолкнул меня с бранию. Я отвечал на его приветствие нагайкою. Турок раскричался; народ собрался. Проводник мой, кажется, за меня заступился. Мне указали караван-сарай; я вошел в большую саклю, похожую на хлев; не было места, где бы я мог разостлать бурку. Я стал требовать лошадь. Ко мне явился турецкий старшина. На все его непонятные речи отвечал я одно: вербана ат (дай мне лошадь). Турки не соглашались. Наконец я догадался показать им деньги (с чего надлежало бы мне начать). Лошадь тотчас была приведена, и мне дали проводника.

Я поехал по широкой долине, окруженной горами. Вскоре увидел я

Карс, белеющийся на одной из них. Турок мой указывал мне на него, повторяя: Карс, Карс! и пускал вскачь свою лошадь; я следовал за ним, мучась беспокойством: участь моя должна была решиться в Карсе. Здесь должен я был узнать, где находится наш лагерь и будет ли еще мне возможность догнать армию. Между тем небо покрылось тучами и дождь пошел опять; но я об нем уж не заботился.

Мы въехали в Карс. Подъезжая к воротам стены, услышал я русский барабан: били зорю. Часовой принял от меня билет и отправился к коменданту. Я стоял под дождем около получаса. Наконец меня пропустили. Я велел проводнику вести меня прямо в бани. Мы поехали по кривым и крутым улицам; лошади скользили по дурной турецкой мостовой. Мы остановились у одного дома, довольно плохой наружности. Это были бани. Турок слез с лошади и стал стучаться у дверей. Никто не отвечал. Дождь ливмя лил на меня. Наконец из ближнего дома вышел молодой армянин и, переговоря с моим турком, позвал меня к себе, изъясняясь на довольно чистом русском языке. Он повел меня по узкой лестнице во второе жилье своего дома. В комнате, убранной низкими диванами и ветхими коврами, сидела старуха, его мать. Она подошла ко мне и поцеловала мне руку. Сын велел ей разложить огонь и приготовить мне ужин. Я разделся и сел перед огнем. Вошел меньший брат хозяина, мальчик лет семнадцати. Оба брата бывали в Тифлисе и живали в нем по нескольку месяцев. Они сказали мне, что войска наши выступили накануне и что лагерь наш находится в 25 верстах от Карса. Я успокоился совершенно. Скоро старуха приготовила мне баранину с луком, которая показалась мне верхом поваренного искусства. Мы все легли спать в одной комнате; я разлегся противу угасающего камина и заснул в приятной надежде увидеть на другой день лагерь графа Паскевича.

Поутру пошел я осматривать город. Младший из моих хозяев взялся быть моим чичероном. Осматривая укрепления и цитадель, выстроенную на неприступной скале, я не понимал, каким образом мы могли овладеть Карсом. Мой армянин толковал мне как умел военные действия, коим сам он был свидетелем. Заметя в нем охоту к войне, я предложил ему ехать со мною в армию. Он тотчас согласился. Я послал его за лошадьми. Он явился вместе с офицером, который потребовал от меня письменного предписания. Судя по азиатским чертам его лица, не почел я за нужное рыться в моих бумагах и вынул из кармана первый попавшийся мне листок. Офицер, важно его рассмотрев, тотчас велел привести его благородию лошадей по предписанию и возвратил мне мою бумагу; это было послание к калмычке, намаранное мною на одной из кавказских станций. Через

полчаса выехал я из Карса, и Артемий (так назывался мой армянин) уже скакал подле меня на турецком жеребце с гибким куртинским дротиком в руке, с кинжалом за поясом, и бредя о турках и сражениях.

Я ехал по земле, везде засеянной хлебом; кругом видны были деревни, но они были пусты: жители разбежались. Дорога была прекрасна и в топких местах вымощена — через ручьи выстроены были каменные мосты. Земля приметно возвышалась — передовые холмы хребта Саган-лу, древнего Тавра, начинали появляться. Прошло около двух часов; я взъехал на отлогое возвышение и вдруг увидел наш лагерь, расположенный на берегу Карс-чая; через несколько минут я был уже в палатке Раевского.

Глава третия

Переход через Саган-лу. Перестрелка. Лагерная жизнь. Язиды. Сражение с сераскиром арзрумским. Взорванная сакля.

Я приехал вовремя. В тот же день (13 июня) войско получило повеление идти вперед. Обедая у Раевского, слушал я молодых генералов, рассуждавших о движении, им предписанном. Генерал Бурцов[29] отряжен был влево по большой Арзрумской дороге прямо противу турецкого лагеря, между тем как все прочее войско должно было идти правою стороною в обход неприятелю.

В пятом часу войско выступило. Я ехал с Нижегородским драгунским полком, разговаривая с Раевским, с которым уж несколько лет не видался. Настала ночь; мы остановились в долине, где все войско имело привал. Здесь имел я честь быть представлен графу Паскевичу.

Я нашел графа дома перед бивачным огнем, окруженного своим штабом. Он был весел и принял меня ласково. Чуждый военному искусству, я не подозревал, что участь похода решалась в эту минуту. Здесь увидел я нашего Вольховского[30], запыленного с ног до головы, обросшего бородой, изнуренного заботами. Он нашел, однако, время побеседовать со мною как старый товарищ. Здесь увидел я и Михаила Пущина[31], раненного в прошлом году. Он любим и уважаем как славный товарищ и храбрый солдат. Многие из старых моих приятелей окружили меня. Как они переменились! как быстро уходит время!

> Heu! fugaces, Posthume, Posthume[32],
> Labuntur anni…[33].

Я воротился к Раевскому и ночевал в его палатке. Посреди ночи разбудили меня ужасные крики: можно было подумать, что неприятель сделал нечаянное нападение. Раевский послал узнать причину тревоги: несколько татарских лошадей, сорвавшихся с привязи, бегали по лагерю, и мусульмане (так зовутся татаре, служащие в нашем войске) их ловили.

На заре войско двинулось вперед. Мы подъехали к горам, поросшим лесом. Мы въехали в ущелие. Драгуны говорили между собою: "Смотри, брат, держись: как раз картечью хватят". В самом деле местоположение

благоприятствовало засадам; но турки, отвлеченные в другую сторону движением генерала Бурцова, не воспользовались своими выгодами. Мы благополучно прошли опасное ущелие и стали на высотах Саган-лу в десяти верстах от неприятельского лагеря.

Природа около нас была угрюма. Воздух был холоден, горы покрыты печальными соснами. Снег лежал в оврагах.

…nec Armeniis in oris[34],
Amice Valgi, stat glacies iners
Menses per omnes…[35]

Только успели мы отдохнуть и отобедать, как услышали ружейные выстрелы. Раевский послал осведомиться. Ему донесли, что турки завязали перестрелку на передовых наших пикетах. Я поехал с Семичевым[36] посмотреть новую для меня картину. Мы встретили раненого казака: он сидел, шатаясь на седле, бледен и окровавлен. Два казака поддерживали его. "Много ли турков?" — спросил Семичев. "Свиньем валит, ваше благородие", — отвечал один из них. Проехав ущелие, вдруг увидели мы на склонении противуположной горы до 200 казаков, выстроенных в лаву, и над ними около 500 турков. Казаки отступали медленно; турки наезжали с большею дерзостию, прицеливались шагах в 20 и, выстрелив, скакали назад. Их высокие чалмы, красивые долиманы и блестящий убор коней составляли резкую противуположность с синими мундирами и простою сбруей казаков. Человек 15 наших было уже ранено. Подполковник Басов послал за подмогой. В это время сам он был ранен в ногу. Казаки было смешались. Но Басов опять сел на лошадь и остался при своей команде. Подкрепление подоспело. Турки, заметив его, тотчас исчезли, оставя на горе голый труп казака, обезглавленный и обрубленный. Турки отсеченные головы отсылают в Константинополь, а кисти рук, обмакнув в крови, отпечатлевают на своих знаменах. Выстрелы утихли. Орлы, спутники войск, поднялися над горою, с высоты высматривая себе добычу. В это время показалась толпа генералов и офицеров: граф Паскевич приехал и отправился на гору, за которою скрылись турки. Они были подкреплены 4000 конницы, скрытой в лощине и в оврагах. С высоты горы открылся нам турецкий лагерь, отделенный от нас оврагами и высотами. Мы возвратились поздно. Проезжая нашим лагерем, я видел наших раненых, из коих человек пять умерло в ту же ночь и на другой день. Вечером навестил я молодого Остен-Сакена[37], раненного в тот же день в другом сражении.

Лагерная жизнь очень мне нравилась. Пушка подымала нас на заре. Сон в палатке удивительно здоров. За обедом запивали мы азиатский шашлык английским пивом и шампанским, застывшим в снегах таврийских. Общество наше было разнообразно. В палатке генерала Раевского собирались беки мусульманских полков; и беседа шла через переводчика. В войске нашем находились и народы закавказских наших областей, и жители земель, недавно завоеванных. Между ими с любопытством смотрел я на язидов, слывущих на Востоке дьяволопоклонниками. Около 300 семейств обитают у подошвы Арарата. Они признали владычество русского государя. Начальник их, высокий, уродливый мужчина в красном плаще и черной шапке, приходил иногда с поклоном к генералу Раевскому, начальнику всей конницы. Я старался узнать от язида правду о их вероисповедании. На мои вопросы отвечал он, что молва, будто бы язиды поклоняются сатане, есть пустая басня; что они веруют в единого бога; что по их закону проклинать дьявола, правда, почитается неприличным и неблагородным, ибо он теперь несчастлив, но со временем может быть прощен, ибо нельзя положить пределов милосердию аллаха. Это объяснение меня успокоило. Я очень рад был за язидов, что они сатане не поклоняются; и заблуждения их показались мне уже гораздо простительнее.

Человек мой явился в лагерь через три дня после меня. Он приехал вместе с вагенбургом, который в виду неприятеля благополучно соединился с армией. NB: во все время похода ни одна арба из многочисленного нашего обоза не была захвачена неприятелем. Порядок, с каковым обоз следовал за войском, в самом деле удивителен.

17 июня утром услышали вновь мы перестрелку и через два часа увидели карабахский полк возвращающимся с осмью турецкими знаменами: полковник Фридерикс имел дело с неприятелем, засевшим за каменными завалами, вытеснил его и прогнал; Осман-паша, начальствовавший конницей, едва успел спастись.

18 июня лагерь передвинулся на другое место. 19-го, едва пушка разбудила нас, все в лагере пришло в движение. Генералы поехали к своим постам. Полки строились; офицеры становились у своих взводов. Я остался один, не зная, в которую сторону ехать, и пустил лошадь на волю божию. Я встретил генерала Бурцова, который звал меня на левый фланг. "Что такое левый фланг?" — подумал я и поехал далее. Я увидел генерала Муравьева[38], расставлявшего пушки. Вскоре показались делибаши и закружились в долине, перестреливаясь с нашими казаками. Между тем густая толпа их пехоты шла по лощине. Генерал Муравьев приказал

стрелять. Картечь хватила в самую середину толпы. Турки попалили в сторону и скрылись за возвышением. Я увидел графа Паскевича, окруженного своим штабом. Турки обходили наше войско, отделенное от них глубоким оврагом. Граф послал Пущина осмотреть овраг. Пущин поскакал. Турки приняли его за наездника и дали по нем залп. Все засмеялись. Граф велел выставить пушки и палить. Неприятель рассыпался по горе и по лощине. На левом фланге, куда звал меня Бурцов, происходило жаркое дело. Перед нами (противу центра) скакала турецкая конница. Граф послал против нее генерала Раевского, который повел в атаку свой Нижегородский полк. Турки исчезли. Татаре наши окружали их раненых и проворно раздевали, оставляя нагих посреди поля. Генерал Раевский остановился на краю оврага. Два эскадрона, отделясь от полка, занеслись в своем преследовании; они были выручены полковником Симоничем[39].

Сражение утихло; турки у нас в глазах начали копать землю и таскать каменья, укрепляясь по своему обыкновению. Их оставили в покое. Мы слезли с лошадей и стали обедать чем бог послал. В это время к графу привели нескольких пленников. Один из них был жестоко ранен. Их расспросили. Около шестого часу войска опять получили приказ идти на неприятеля. Турки зашевелились за своими завалами, приняли нас пушечными выстрелами и вскоре зачали отступать. Конница наша была впереди; мы стали спускаться в овраг; земля обрывалась и сыпалась под конскими ногами. Поминутно лошадь моя могла упасть, и тогда Сводный уланский полк переехал бы через меня. Однако бог вынес. Едва выбрались мы на широкую дорогу, идущую горами, как вся наша конница поскакала во весь опор. Турки бежали; казаки стегали нагайками пушки, брошенные на дороге, и неслись мимо. Турки бросались в овраги, находящиеся по обеим сторонам дороги; они уже не стреляли; по крайней мере ни одна пуля не просвистала мимо моих ушей. Первые в преследовании были наши татарские полки, коих лошади отличаются быстротою и силою. Лошадь моя, закусив повода, от них не отставала; я насилу мог ее сдержать. Она остановилась перед трупом молодого турка, лежавшим поперек дороги. Ему, казалось, было лет 18, бледное девическое лицо не было обезображено. Чалма его валялась в пыли; обритый затылок прострелен был пулею. Я поехал шагом; вскоре нагнал меня Раевский. Он написал карандашом на клочке бумаги донесение графу Паскевичу о совершенном поражении неприятеля и поехал далее. Я следовал за ним издали. Настала ночь. Усталая лошадь моя отставала и спотыкалась на каждом шагу. Граф Паскевич повелел не прекращать преследования и сам им управлял. Меня обгоняли конные наши отряды; я увидел полковника Полякова, начальника

казацкой артиллерии, игравшей в тот день важную роль, и с ним вместе прибыл в оставленное селение, где остановился граф Паскевич, прекративший преследование по причине наступившей ночи.

Мы нашли графа на кровле подземной сакли перед огнем. К нему приводили пленных. Он их расспрашивал. Тут находились и почти все начальники. Казаки держали в поводьях их лошадей. Огонь освещал картину, достойную Сальватора-Розы, речка шумела во мраке. В это время донесли графу, что в деревне спрятаны пороховые запасы и что должно опасаться взрыва. Граф оставил саклю со всею своею свитою. Мы поехали к нашему лагерю, находившемуся уже в 30 верстах от места, где мы ночевали. Дорога полна была конных отрядов. Только успели мы прибыть на место, как вдруг небо осветилось, как будто метеором, и мы услышали глухой взрыв. Сакля, оставленная нами назад тому четверть часа, взорвана была на воздух: в ней находился пороховой запас. Разметанные камни задавили нескольких казаков.

Вот все, что в то время успел я увидеть. Вечером я узнал, что в сем сражении разбит сераскир арзрумский, шедший на присоединение к Гаки-паше с 30 000 войска. Сераскир бежал к Арзруму; войско его, переброшенное за Саган-лу, было рассеяно, артиллерия взята, и Гаки-паша один оставался у нас на руках. Граф Паскевич не дал ему время распорядиться.

Глава четвертая

Сражение с Гаки-пашою. Смерть татарского бека. Гермафродит. Пленный паша. Аракс. Мост пастуха. Гассан-Кале. Горячий источник. Поход к Арзруму. Переговоры. Взятие Арзрума. Турецкие пленники. Дервиш.

На другой день в пятом часу лагерь проснулся и получил приказание выступить. Вышед из палатки, встретил я графа Паскевича, вставшего прежде всех. Он увидел меня. "etes-vous fatigue de la journee d'hier?" — "Mais un peu, m. le Comte". — "J'en suis fache pour vous, car nous allons faire encore une marche pour joindre le Pacha, et puis il faudra poursuivre l'ennemi encore une trentaine de verstes"[40].

Мы тронулись и к осьми часам пришли на возвышение, с которого лагерь Гаки-паши виден был как на ладони. Турки открыли безвредный огонь со всех своих батарей. Между тем в лагере их заметно было большое движение. Усталость и утренний жар заставили многих из нас слезть с лошадей и лечь на свежую траву. Я опутал поводья около руки и сладко заснул, в ожидании приказа идти вперед. Через четверть часа меня разбудили. Все было в движении. С одной стороны колонны шли на турецкий лагерь; с другой — конница готовилась преследовать неприятеля. Я поехал было за Нижегородским полком, но лошадь моя хромала. Я отстал. Мимо меня пронесся Уланский полк. Потом Вольховский проскакал с тремя пушками. Я очутился один в лесистых горах. Мне попался навстречу драгун, который объявил, что лес наполнен неприятелем. Я воротился. Я встретил генерала Муравьева с пехотным полком. Он отрядил одну роту в лес, дабы его очистить. Подъезжая к лощине, увидел я необыкновенную картину. Под деревом лежал один из наших татарских беков, раненный смертельно. Подле него рыдал его любимец. Мулла, стоя на коленях, читал молитвы. Умирающий бек был чрезвычайно спокоен и неподвижно глядел на молодого своего друга. В лощине собрано было человек 500 пленных. Несколько раненых турков подзывали меня знаками, вероятно принимая меня за лекаря и требуя помощи, которую я не мог им подать. Из лесу вышел турок, зажимая свою рану окровавленною тряпкою. Солдаты подошли к нему с намерением его приколоть, может быть из человеколюбия. Но это слишком меня возмутило; я заступился за бедного турку и насилу привел его,

изнеможенного и истекающего кровию, к кучке его товарищей. При них был полковник Анреп[41]. Он курил дружелюбно из их трубок, несмотря на то, что были слухи о чуме, будто бы открывшейся в турецком лагере. Пленные сидели, спокойно разговаривая между собою. Почти все были молодые люди. Отдохнув, пустились мы далее. По всей дороге валялись тела. Верстах в 15 нашел я Нижегородский полк, остановившийся на берегу речки посреди скал. Преследование продолжалось еще несколько часов. К вечеру пришли мы в долину, окруженную густым лесом, и наконец мог я выспаться вволю, проскакав в эти два дня более осьмидесяти верст.

На другой день войска, преследовавшие неприятеля, получили приказ возвратиться в лагерь. Тут узнали мы, что между пленниками находился гермафродит. Раевский по просьбе моей велел его привести. Я увидел высокого, довольно толстого мужика с лицом старой курносой чухонки. Мы осмотрели его в присутствии лекаря. Erat vir, mammosus ut femina, habebat t. non evolutos, p. que parvum et puerilem. Quaerebamus, sit ne exsectus? — Deus, respondit, castravit me[42]. Сия болезнь, известная Ипократу, по свидетельству путешественников, встречается часто у кочующих татар и у турков. Хосс есть турецкое название сим мнимым гермафродитам.

Войско наше стояло в турецком лагере, взятом накануне. Палатка графа Паскевича стояла близ зеленого шатра Гаки-паши, взятого в плен нашими казаками. Я пошел к нему и нашел его окруженного нашими офицерами. Он сидел, поджав под себя ноги и куря трубку. Он казался лет сорока. Важность и глубокое спокойствие изображалось на прекрасном лице его. Отдавшись в плен, он просил, чтоб ему дали чашку кофию и чтоб его избавили от вопросов.

Мы стояли в долине. Снежные и лесистые горы Саган-лу были уже за нами. Мы пошли вперед, не встречая уже нигде неприятеля. Селения были пусты. Окрестная сторона печальна. Мы увидели Аракс, быстро текущий в каменистых берегах своих. В 15 верстах от Гассан-Кале находится мост, прекрасно и смело выстроенный на семи неравных сводах. Предание приписывает его построение разбогатевшему пастуху, умершему пустынником на высоте холма, где доныне показывают его могилу, осененную двумя пустынными соснами. Соседние поселяне стекаются к ней на поклонение. Мост называется Чабан-Кэпри (мост пастуха). Дорога в Тебриз лежит через него.

В нескольких шагах от моста посетил я темные развалины караван-сарая. Я не нашел в нем никого, кроме больного осла, вероятно

брошенного здесь бегущими поселянами.

24 июня утром пошли мы к Гассан-Кале, древней крепости, накануне занятой князем Бековичем. Она была в 15 верстах от места нашего ночлега. Длинные переходы утомили меня. Я надеялся отдохнуть; но вышло иначе.

Перед выступлением конницы явились в наш лагерь армяне, живущие в горах, требуя защиты от турков, которые три дня тому назад отогнали их скот. Полковник Анреп, хорошо не разобрав, чего они хотели, вообразил, что турецкий отряд находился в горах, и с одним эскадроном Уланского полка поскакал в сторону, дав знать Раевскому, что 3000 турков находятся в горах. Раевский отправился вслед за ним, дабы подкрепить его в случае опасности. Я почитал себя прикомандированным к Нижегородскому полку и с великою досадою поскакал на освобождение армян. Проехав верст 20, въехали мы в деревню и увидели несколько отставших уланов, которые, спешась, с обнаженными саблями, преследовали нескольких кур. Здесь один из поселян растолковал Раевскому, что дело шло о 3000 волах, три дня назад отогнанных турками и которых весьма легко будет догнать дни через два. Раевский приказал уланам прекратить преследование кур и послал полковнику Анрепу повеление воротиться. Мы поехали обратно и, выбравшись из гор, прибыли под Гассан-Кале. Но таким образом дали мы 40 верст крюку, дабы спасти жизнь нескольким армянским курицам, что вовсе не казалось мне забавным.

Гассан-Кале почитается ключом Арзрума. Город выстроен у подошвы скалы, увенчанной крепостью. В нем находилось до ста армянских семейств. Лагерь наш стоял в широкой равнине, расстилающейся перед крепостию. Тут посетил я круглое каменное строение, в коем находится горячий железо-серный источник.

Круглый бассейн имеет сажени три в диаметре. Я переплыл его два раза и вдруг, почувствовав головокружение и тошноту, едва имел силу выйти на каменный край источника. Эти воды славятся на востоке, но, не имея порядочных лекарей, жители пользуются ими наобум и, вероятно, без большого успеха.

Под стенами Гассан-Кале течет речка Мурц; берега ее покрыты железными источниками, которые бьют из-под камней и стекают в реку. Они не столь приятны вкусу, как кавказский нарзан, и отзываются медью.

25 июня, в день рождения государя императора, в лагере нашем под стенами крепости полки отслушали молебен. За обедом у графа Паскевича, когда пили здоровье государя, граф объявил поход к Арзруму. В пять часов вечера войско уже выступило.

26 июня мы стали в горах в пяти верстах от Арзрума. Горы эти

называются Ак-Даг (белые горы); они меловые. Белая, язвительная пыль ела нам глаза; грустный вид их наводил тоску. Близость Арзрума и уверенность в окончании похода утешала нас.

Вечером граф Паскевич ездил осматривать местоположение. Турецкие наездники, целый день кружившиеся перед нашими пикетами, начали по нем стрелять. Граф несколько раз погрозил им нагайкою, не преставая рассуждать с генералом Муравьевым. На их выстрелы не отвечали.

Между тем в Арзруме происходило большое смятение. Сераскир, прибежавший в город после своего поражения, распустил слух о совершенном разбитии русских. Вслед за ним отпущенные пленники доставили жителям воззвание графа Паскевича. Беглецы уличили сераскира во лжи. Вскоре узнали о быстром приближении русских. Народ стал говорить о сдаче. Сераскир и войско думали защищаться. Произошел мятеж. Несколько франков были убиты озлобленной чернию.

В лагерь наш (26-го утром) явились депутаты от народа и сераскира; день прошел в переговорах; в пять часов вечера депутаты отправились в Арзрум, и с ними генерал князь Бекович, хорошо знающий азиатские языки и обычаи.

На другой день утром войско наше двинулось вперед. С восточной стороны Арзрума, на высоте Топ-Дага, находилась турецкая батарея. Полки пошли к ней, отвечая на турецкую пальбу барабанным боем и музыкою. Турки бежали, и Топ-Даг был занят. Я приехал туда с поэтом Юзефовичем[43]. На оставленной батарее нашли мы графа Паскевича со всею его свитою. С высоты горы в лощине открывался взору Арзрум со своею цитаделью, с минаретами, с зелеными кровлями, наклеенными одна на другую. Граф был верхом. Перед ним на земле сидели турецкие депутаты, приехавшие с ключами города. Но в Арзруме заметно было волнение. Вдруг на городском валу мелькнул огонь, закурился дым, и ядра полетели к Топ-Дагу. Несколько их пронеслись над головою графа Паскевича; "Voyez les Turcs, — сказал он мне, — on ne peut jamais se fier a eux"[44]. В сию минуту прискакал на Топ-Даг князь Бекович, со вчерашнего дня находившийся в Арзруме на переговорах. Он объявил, что сераскир и народ давно согласны на сдачу, но что несколько непослушных арнаутов под предводительством Топчи-паши овладели городскими батареями и бунтуют. Генералы подъехали к графу, прося позволения заставить молчать турецкие батареи. Арзрумские сановники, сидевшие под огнем своих же пушек, повторили ту же просьбу. Граф несколько времени медлил; наконец дал повеление, сказав: "Полно им дурачиться". Тотчас подвезли пушки,

стали стрелять, и неприятельская пальба мало-помалу утихла. Полки наши пошли в Арзрум, и 27 июня, в годовщину полтавского сражения, в шесть часов вечера русское знамя развилось над арзрумской цитаделию.

Раевский поехал в город — я отправился с ним; мы въехали в город, представлявший удивительную картину. Турки с плоских кровель своих угрюмо смотрели на нас. Армяне шумно толпились в тесных улицах. Их мальчишки бежали перед нашими лошадьми, крестясь и повторяя: "Християн! Християн!.." Мы подъехали к крепости, куда входила наша артиллерия; с крайним изумлением встретил я тут моего Артемия, уже разъезжающего по городу, несмотря на строгое предписание никому из лагеря не отлучаться без особенного позволения.

Улицы города тесны и кривы. Дома довольно высоки. Народу множество, лавки были заперты. Пробыв в городе часа с два, я возвратился в лагерь: сераскир и четверо пашей, взятые в плен, находились уже тут. Один из пашей, сухощавый старичок, ужасный хлопотун, с живостию говорил нашим генералам. Увидев меня во фраке, он спросил, кто я таков. Пущин дал мне титул поэта. Паша сложил руки на грудь и поклонился мне, сказав через переводчика: "Благословен час, когда встречаем поэта. Поэт брат дервишу. Он не имеет ни отечества, ни благ земных; и между тем как мы, бедные, заботимся о славе, о власти, о сокровищах, он стоит наравне с властелинами земли и ему поклоняются".

Восточное приветствие паши всем нам очень полюбилось. Я пошел взглянуть на сераскира. При входе в его палатку встретил я его любимого пажа, черноглазого мальчика лет четырнадцати, в богатой арнаутской одежде. Сераскир, седой старик, наружности самой обыкновенной, сидел в глубоком унынии. Около него была толпа наших офицеров. Выходя из его палатки, увидел я молодого человека, полунагого, в бараньей шапке, с дубиною в руке и с мехом (outre[45]) за плечами. Он кричал во все горло. Мне сказали, что это был брат мой, дервиш, пришедший приветствовать победителей. Его насилу отогнали.

Глава пятая

Арзрум. Азиатская роскошь. Климат. Кладбище. Сатирические стихи. Сераскирский дворец. Харем турецкого паши. Чума. Смерть Бурцова. Выезд из Арзрума. Обратный путь. Русский журнал.

Арзрум (неправильно называемый Арзерум, Эрзрум, Эрзрон) основан около 415 году, во время Феодосия Второго, и назван Феодосиополем. Никакого исторического воспоминания не соединяется с его именем. Я знал о нем только то, что здесь, по свидетельству Гаджи-Бабы[46], поднесены были персидскому послу, в удовлетворение какой-то обиды, телячьи уши вместо человечьих.

Арзрум почитается главным городом в Азиатской Турции. В нем считалось до 100 000 жителей, но, кажется, число сие слишком увеличено. Дома в нем каменные, кровли покрыты дерном, что дает городу чрезвычайно странный вид, если смотришь на него с высоты.

Главная сухопутная торговля между Европою и Востоком производится через Арзрум. Но товаров в нем продается мало; их здесь не выкладывают, что заметил и Турнфор[47], пишущий, что в Арзруме больной может умереть за невозможностию достать ложку ревеня, между тем как целые мешки оного находятся в городе.

Не знаю выражения, которое было бы бессмысленнее слов: азиатская роскошь. Эта поговорка, вероятно, родилась во время крестовых походов, когда бедные рыцари, оставя голые стены и дубовые стулья своих замков, увидели в первый раз красные диваны, пестрые ковры и кинжалы с цветными камушками на рукояти. Ныне можно сказать: азиатская бедность, азиатское свинство и проч., но роскошь есть, конечно, принадлежность Европы. В Арзруме ни за какие деньги нельзя купить того, что вы найдете в мелочной лавке первого уездного городка Псковской губернии.

Климат арзрумский суров. Город выстроен в лощине, возвышающейся над морем на 7000 футов. Горы, окружающие его, покрыты снегом большую часть года. Земля безлесна, но плодоносна. Она орошена множеством источников и отовсюду пересечена водопроводами. Арзрум славится своею водою. Евфрат течет в трех верстах от города. Но фонтанов везде множество. У каждого висит жестяной ковшик на цепи, и добрые мусульмане пьют и не нахвалятся. Лес доставляется из Саган-лу.

В Арзрумском арсенале нашли множество старинного оружия, шлемов, лат, сабель, ржавеющих, вероятно, еще со времен Годфреда. Мечети низки и темны. За городом находится кладбище. Памятники состоят обыкновенно в столбах, убранных каменною чалмою. Гробницы двух или трех пашей отличаются большей затейливостию, но в них нет ничего изящного: никакого вкусу, никакой мысли… Один путешественник пишет, что изо всех азиатских городов в одном Арзруме нашел он башенные часы, и те были испорчены.

Нововведения, затеваемые султаном, не проникли еще в Арзрум. Войско носит еще свой живописный восточный наряд. Между Арзрумом и Константинополем существует соперничество, как между Казанью и Москвою. Вот начало сатирической поэмы, сочиненной янычаром Амином-Оглу[48].

Стамбул гяуры нынче славят,
А завтра кованой пятой,
Как змия спящего, раздавят,
И прочь пойдут — и так оставят.
Стамбул заснул перед бедой.

Стамбул отрекся от пророка;
В нем правду древнего Востока
Лукавый Запад омрачил.
Стамбул для сладостей порока
Мольбе и сабле изменил.
Стамбул отвык от поту битвы
И пьет вино в часы молитвы.

В нем веры чистый жар потух,
В нем жены по кладбищам ходят,
На перекрестки шлют старух,
А те мужчин в харемы вводят,
И спит подкупленный евнух.

Но не таков Арзрум нагорный,
Многодорожный наш Арзрум;
Не спим мы в роскоши позорной,
Не черплем чашей непокорной
В вине разврат, огонь и шум.

Постимся мы: струею трезвой
Святые воды нас поят;
Толпой бестрепетной и резвой
Джигиты наши в бой летят;
Харемы наши недоступны,
Евнухи строги, неподкупны,
И смирно жены там сидят.

Я жил в сераскировом дворце в комнатах, где находился харем. Целый день бродил я по бесчисленным переходам, из комнаты в комнату, с кровли на кровлю, с лестницы на лестницу. Дворец казался разграбленным; сераскир, предполагая бежать, вывез из него что только мог. Диваны были ободраны, ковры сняты. Когда гулял я по городу, турки подзывали меня и показывали мне язык. (Они принимают всякого франка за лекаря.) Это мне надоело, я готов был отвечать им тем же. Вечера проводил я с умным и любезным Сухоруковым[49]; сходство наших занятий сближало нас. Он говорил мне о своих литературных предположениях, о своих исторических изысканиях, некогда начатых им с такою ревностию и удачей. Ограниченность его желаний и требований поистине трогательна. Жаль, если они не будут исполнены.

Дворец сераскира представлял картину вечно оживленную: там, где угрюмый паша молчаливо курил посреди своих жен и бесчестных отроков, там его победитель получал донесения о победах своих генералов, раздавал пашалыки, разговаривал о новых романах. Мушский паша приезжал к графу Паскевичу просить у него места своего племянника. Ходя по дворцу, важный турок остановился в одной из комнат, с живостию проговорил несколько слов и впал потом в задумчивость: в этой самой комнате обезглавлен был его отец по повелению сераскира. Вот впечатления настоящие восточные! Славный Бей-булат[50], гроза Кавказа, приезжал в Арзрум с двумя старшинами черкесских селений, возмутившихся во время последних войн. Они обедали у графа Паскевича. Бей-булат мужчина лет тридцати пяти, малорослый и широкоплечий. Он по-русски не говорит или притворяется, что не говорит. Приезд его в Арзрум меня очень обрадовал: он был уже мне порукой в безопасном переезде через горы и Кабарду.

Осман-паша, взятый в плен под Арзрумом и отправленный в Тифлис вместе с сераскиром, просил графа Паскевича за безопасность харема, им оставляемого в Арзруме. В первые дни об нем было забыли. Однажды за

обедом, разговаривая о тишине мусульманского города, занятого 10 000 войска и в котором ни один из жителей ни разу не пожаловался на насилие солдата, граф вспомнил о хареме Османа-паши и приказал г. Абрамовичу съездить в дом паши и спросить у его жен, довольны ли они и не было ли им какой-нибудь обиды. Я просил позволения сопровождать г. А. Мы отправились. Г-н А. взял с собою в переводчики русского офицера, коего история любопытна. 18-ти лет попался он в плен к персиянам. Его скопили, и он более 20 лет служил евнухом в хареме одного из сыновей шаха. Он рассказывал о своем несчастии, о пребывании в Персии с трогательным простодушием. В физиологическом отношении показания его были драгоценны.

Мы пришли к дому Османа-паши; нас ввели в открытую комнату, убранную очень порядочно, даже со вкусом, — на цветных окнах начертаны были надписи, взятые из Корана. Одна из них показалась мне очень замысловата для мусульманского гарема: тебе подобает связывать и развязывать. Нам поднесли кофию в чашечках, оправленных в серебре. Старик с белой почтенной бородою, отец Османа-паши, пришел от имени жен благодарить графа Паскевича, — но г. А. сказал наотрез, что он послан к женам Османа-паши и хочет их видеть, дабы от них самих удостовериться, что они в отсутствие супруга всем довольны. Едва персидский пленник успел все это перевести, как старик, в знак негодования, защелкал языком и объявил, что никак не может согласиться на наше требование и что если паша, по своем возвращении, проведает, что чужие мужчины видели его жен, то и ему, старику, и всем служителям харема велит отрубить голову. Прислужники, между коими не было ни одного евнуха, подтвердили слова старика, но г. А. был неколебим. "Вы боитесь своего паши, — сказал он им, — а я своего сераскира и не смею ослушаться его приказаний". Делать было нечего. Нас повели через сад, где били два тощие фонтана. Мы приближились к маленькому каменному строению. Старик стал между нами и дверью, осторожно ее отпер, не выпуская из рук задвижки, и мы увидели женщину, с головы до желтых туфель покрытую белой чадрою. Наш переводчик повторил ей вопрос: мы услышали шамкание семидесятилетней старухи; г. А. прервал ее: "Это мать паши, — сказал он, — а я прислан к женам, приведите одну из них"; все изумились догадке гяуров: старуха ушла и через минуту возвратилась с женщиной, покрытой так же, как и она, — из-под покрывала раздался молодой приятный голосок. Она благодарила графа за его внимание к бедным вдовам и хвалила обхождение русских. Г-н А. имел искусство вступить с нею в дальнейший разговор. Я между тем, глядя около себя,

увидел вдруг над самой дверью круглое окошко и в этом круглом окошке пять или шесть круглых голов с черными любопытными глазами. Я хотел было сообщить о своем открытии г. А., но головки закивали, замигали, и несколько пальчиков стали мне грозить, давая знать, чтоб я молчал. Я повиновался и не поделился моею находкою. Все они были приятны лицом, но не было ни одной красавицы; та, которая разговаривала у двери с г. А., была, вероятно, повелительницею харема, сокровищницею сердец, розою любви — по крайней мере я так воображал.

Наконец г. А. прекратил свои расспросы. Дверь затворилась. Лица в окошке исчезли. Мы осмотрели сад и дом и возвратились очень довольные своим посольством.

Таким образом, видел я харем: это удалось редкому европейцу. Вот вам основание для восточного романа.

Война казалась кончена. Я собирался в обратный путь. 14 июля пошел я в народную баню и не рад был жизни. Я проклинал нечистоту простынь, дурную прислугу и проч. Как можно сравнить бани арзрумские с тифлисскими!

Возвращаясь во дворец, узнал я от Коновницына[51], стоявшего в карауле, что в Арзруме открылась чума. Мне тотчас представились ужасы карантина, и я в тот же день решился оставить армию. Мысль о присутствии чумы очень неприятна с непривычки. Желая изгладить это впечатление, я пошел гулять по базару. Остановясь перед лавкою оружейного мастера, я стал рассматривать какой-то кинжал, как вдруг кто-то ударил меня по плечу. Я оглянулся: за мною стоял ужасный нищий. Он был бледен как смерть; из красных загноенных глаз его текли слезы. Мысль о чуме опять мелькнула в моем воображении. Я оттолкнул нищего с чувством отвращения неизъяснимого и воротился домой очень недовольный своею прогулкою.

Любопытство, однако ж, превозмогло; на другой день я отправился с лекарем в лагерь, где находились зачумленные. Я не сошел с лошади и взял предосторожность стать по ветру. Из палатки вывели нам больного; он был чрезвычайно бледен и шатался как пьяный. Другой больной лежал без памяти. Осмотрев чумного и обещав несчастному скорое выздоровление, я обратил внимание на двух турков, которые выводили его под руки, раздевали, щупали, как будто чума была не что иное, как насморк. Признаюсь, я устыдился моей европейской робости в присутствии такого равнодушия и поскорее возвратился в город.

19 июля, пришед проститься с графом Паскевичем, я нашел его в сильном огорчении. Получено было печальное известие, что генерал

Бурцов был убит под Байбуртом. Жаль было храброго Бурцова, но это происшествие могло быть гибельно и для всего нашего малочисленного войска, зашедшего глубоко в чужую землю и окруженного неприязненными народами, готовыми восстать при слухе о первой неудаче. Итак, война возобновлялась! Граф предлагал мне быть свидетелем дальнейших предприятий. Но я спешил в Россию… Граф подарил мне на память турецкую саблю. Она хранится у меня памятником моего странствования вослед блестящего героя по завоеванным пустыням Армении. В тот же день я оставил Арзрум.

Я ехал обратно в Тифлис по дороге уже мне знакомой. Места, еще недавно оживленные присутствием 15 000 войска, были молчаливы и печальны. Я переехал Саган-лу и едва мог узнать место, где стоял наш лагерь. В Гумрах выдержал я трехдневный карантин. Опять увидел я Безобдал и оставил возвышенные равнины холодной Армении для знойной Грузии. В Тифлис я прибыл 1-го августа. Здесь остался я несколько дней в любезном и веселом обществе. Несколько вечеров провел я в садах при звуке музыки и песен грузинских. Я отправился далее. Переезд мой через горы замечателен был для меня тем, что близ Коби ночью застала меня буря. Утром, проезжая мимо Казбека, увидел я чудное зрелище. Белые оборванные тучи перетягивались через вершину горы, и уединенный монастырь[52], озаренный лучами солнца, казалось, плавал в воздухе, несомый облаками. Бешеная Балка также явилась мне во всем своем величии: овраг, наполнившийся дождевыми водами, превосходил в своей свирепости самый Терек, тут же грозно ревевший. Берега были растерзаны; огромные камни сдвинуты были с места и загромождали поток. Множество осетинцев разработывали дорогу. Я переправился благополучно. Наконец я выехал из тесного ущелия на раздолие широких равнин Большой Кабарды. Во Владикавказе нашел я Дорохова[53] и Пущина. Оба ехали на воды лечиться от ран, полученных ими в нынешние походы. У Пущина на столе нашел я русские журналы. Первая статья, мне попавшаяся[54], была разбор одного из моих сочинений. В ней всячески бранили меня и мои стихи. Я стал читать ее вслух. Пущин остановил меня, требуя, чтоб я читал с большим мимическим искусством. Надобно знать, что разбор был украшен обыкновенными затеями нашей критики: это был разговор между дьячком, просвирней и корректором типографии, Здравомыслом этой маленькой комедии. Требование Пущина показалось мне так забавно, что досада, произведенная на меня чтением журнальной статьи, совершенно исчезла, и мы расхохотались от чистого сердца.

Таково было мне первое приветствие в любезном отечестве.

---

notes

Примечания

1

Путешествия на Восток, предпринятые по поручению Французского правительства (франц.).

2

Один поэт, замечательный своим воображением, в стольких славных деяниях, свидетель которых он был, нашел сюжет не для поэмы, но для сатиры (франц.).

3

Среди начальников, командовавших ею (армией князя Паскевича) выделялись генерал Муравьев… грузинский князь Чичевадзе… армянский князь Бебутов… князь Потемкин, генерал Раевский и, наконец, г. Пушкин… покинувший столицу, чтобы воспеть подвиги своих соотечественников (франц.).

4

Ермолов Алексей Петрович (1772–1861) — русский генерал, герой Отечественной войны 1812 г. С 1816 г. — главнокомандующий на Кавказе. В 1827 г. Ермолов был уволен Николаем I в отставку и жил большей частью в своем Орловском имении.

5

…портрет, писанный Довом. — Портрет Ермолова кисти Доу из Военной галереи 1812 г. в Зимнем дворце.

6

…слова гр. Толстого — графа Ф. И. Толстого, по прозвищу "американец" (см. о нем в т. 1, стр. 575).

7

с увлечением (итал.).

8

..нашел я графа Пушкина. — В. А. Мусин-Пушкин (1798–1854) состоял членом Северного общества декабристов; после подавления восстания был переведен из гвардии в армейский Петровский полк.

9

"Кобылиц неукротимых" — цитата из думы Рылеева "Петр Великий в Острогожске" (1823).

10

…подобно отдыхающему воину в его боевом плаще (англ.).

11

Шернваль Э. К. - офицер генерального штаба при Паскевиче; брат жены В. А. Мусина-Пушкина.

12

"…реке, на Севере гремящей". — В оде Державина "Водопад" (1794) есть строки:

> И ты, о водопадов мать!
> Река на Севере гремяща.

13

"И в козиих мехах вино, отраду нашу!" — стих из третьей песни "Илиады" Гомера в переводе Е. Кострова.

14

Граф И. Потоцкий — путешественник, писатель и историк, автор романов из испанской жизни и книги на французском языке "Путешествие в степях Астрахани" (Париж, 1829).

15

"…подпирающую небосклон". — В стихотворении Д. Давыдова "Полусолдат" (1826) есть следующие строки:

С Кавказа глаз не сводит он,
Где подпирает небосклон
Казбека груда снеговая.

16

Ждали персидского принца. — Приезд в Россию персидского наследника Хозрев Мирзы был вызван нападением на русское посольство в Тегеране 30 января 1829 г., во время которого погиб А. С. Грибоедов.

17

Так называются персидские шапки. (Прим. А. С. Пушкина.)

18

за такую великую вольность (франц.).

19

прелестная грузинская дева с ярким румянцем и свежим пыланьем, какое бывает на лицах дев ее страны, когда они выходят разгоряченные из Тифлисских ключей. Лалла Рук (англ.).

и отлично (итал.).

21

…надеялся я найти Раевского. — Н. Н. Раевский-младший командовал в армии Паскевича кавалерийской бригадой.

22

"Душа, недавно рожденная…" — стихи из "Весенней песни" грузинского поэта Димитрия Туманишвили (ум. в 1821 г.).

23

…несчастный Кларенс — английский герцог Георг Кларенс, утопленный своим братом королем Эдуардом IV в бочке вина (1478).

24

Граф Самойлов Н. А. (ум. в 1842 г.) — офицер, двоюродный брат Н. Н. Раевского.

25

Генерал Сипягин Николай Мартемьянович (1785–1828) — тифлисский военный губернатор.

26

Генерал Стрекалов С. С. (1782–1856) — тифлисский военный губернатор после смерти Сипягина.

27

Вы еще не знаете этих людей: вы увидите, что дело дойдет до ножей (франц.).

28

Бутурлин Н. А. (1801–1867) — адъютант военного министра графа Чернышева.

29

Генерал Бурцов И. Г. (1794–1829) — декабрист. После годичного заключения в крепости в 1827 г. переведен на Кавказ.

30

Вольховский В. Д. (1798–1841) — товарищ Пушкина по лицею, служил в штабе Паскевича.

31

Михаил Пущин (1800–1869) — брат лицейского друга Пушкина, за участие в деле декабристов сосланный на Кавказ солдатом. Ко времени приезда Пушкина был уже офицером.

32

"Heu! fugaces, Posthum, Posthum…" — стих из оды 14-й Горация (кн. II).

33

Увы, о Постум, Постум, быстротечные мчатся годы… (лат.)

34

"…пес Armeniis in oris" — стих из 9-й оды Горация (кн. II).

35

..и армянская земля, друг Вальгий, не круглый год покрыта неподвижным льдом… (лат.).

36

Семичев Н. Н. (1792–1830) — декабрист; после полугодового заключения в крепости был переведен на Кавказ. В описанном ниже сражении (14 июня 1829 г.) участвовал и сам Пушкин. В "Истории военных действий в Азиатской Турции в 1828 и 1829 гг." Н. И. Ушакова говорится: "В поэтическом порыве он [Пушкин] тотчас выскочил из ставки, сел на лошадь и мгновенно очутился на аванпостах. Опытный майор Семичев, посланный генералом Раевским вслед за поэтом, едва настигнул его и вывел насильно из передовой цепи казаков в ту минуту, когда Пушкин, одушевленный отвагою, столь свойственною новобранцу-воину, схватив после пику одного из убитых казаков, устремился противу неприятельских всадников" (СПб. 1836, ч. II, стр. 305–306).

37

Остен-Сакен — офицер Нижегородского драгунского полка.

38

Генерал Муравьев Николай Николаевич (1794–1866) — в то время непосредственный начальник Н. Н. Раевского.

39

Симонич И. О. (ум. в 1850 г.) — командир Грузинского гренадерского полка.

40

Вы не устали после вчерашнего? — Немножко, г. граф. — Мне за вас досадно, потому что нам предстоит еще один переход, чтобы нагнать пашу, а затем придется преследовать неприятеля еще верст тридцать (франц.).

41

Анреп Р. Р. (ум. в 1830 г.) — командир Сводного уланского полка.

42

Это был мужчина с женской грудью, зачаточными половыми железами и органом маленьким и детским. Мы спросили его, не был ли он оскоплен. Бог, отвечал он, кастрировал меня (лат.).

43

Юзефович Михаил Владимирович (1802–1889) — адъютант Н. Н. Раевского. Оставил воспоминания о встречах с Пушкиным на Кавказе.

44

Смотрите, каковы турки… никогда нельзя им доверяться (франц.).

45

бурдюком (франц.).

46

Гаджи-баба — персонаж из романа английского писателя Мориера "Приключения Гаджи-Баба Испаганского" (1824–1828). Имеется в виду эпизод, когда персидский посол, проезжая через Арзрум, поймал обокравшего его скорохода и требовал отрезать у него уши. Слуги обманули посла и подали вместо человеческих ушей телячьи.

47

Турнфор Ж.-П. (1656–1708) — французский ботаник и путешественник, автор книги "Отчет о путешествии на Восток".

48

Амин-Оглу — лицо вымышленное; стихи написаны Пушкиным.

49

Сухоруков В. Д. (1795–1841) — офицер, был близок к декабристам; собирал материалы по истории Донского казачьего войска.

50

Бей-булат — глава восставших горских племен на Кавказе. В 1829 г. перешел на сторону русских.

51

Коновницын П. П. (1803–1830) — декабрист, был разжалован в солдаты и отправлен на Кавказ. В 1828 г. произведен в младшие офицеры.

52

Уединенный монастырь — старинная церковь Цминда Самеба, описана также в стих. "Монастырь на Казбеке", 1829.

53

Дорохов Р. И. (ум. в 1852 г.) — в 1820 г. был разжалован в солдаты "за буйство" и дуэль. В 1829 г. за храбрость произведен в офицеры. Ему посвящено стихотворение Пушкина "Счастлив ты в прелестных дурах", 1829.

54

Первая статья, мне попавшаяся — статья Н. И. Надеждина в "Вестнике Европы", 1829 г., о "Полтаве".